

Иосиф Алек

СТИХИ

Иосиф Александрович Бродский

СТИХИ (3)

<http://www.litres.ru>

Содержание

«Ни страны, ни погоста...»	5
«Я памятник воздвиг себе иной!..»	7
«Шум ливня воскрешает по углам...»	8
POSTSCRIPTUM	10
«На прения с самим собою ночь...»	11
СТРОФЫ	13
НЕОКОНЧЕННЫЙ ОТРЫВОК	19
ПОЧТИ ЭЛЕГИЯ	20
ПИЛИГРИМЫ	21
ПЕСНЯ НЕВИННОСТИ, ОНА ЖЕ – ОПЫТА	23
НАТЮРМОРТ	29
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ РОМАНС	37
УТОЧНЕНИЕ	40
«Сначала в бездну свалился стул...»	41
«Предпоследний этаж...»	42
ШЕСТЬ ЛЕТ СПУСТЯ	43
«Сумев отгородиться от людей...»	45
ОСВОЕНИЕ КОСМОСА	46
НЕОКОНЧЕННЫЙ ОТРЫВОК	48
МОРСКИЕ МАНЕВРЫ	49
«Отказом от скобного перечня – жест...»	50
«Волосы за висок...»	52
ПОДРАЖАНИЕ САТИРАМ, СОЧИНЕННЫМ	54

КАНТЕМИРОМ	
ОСТАНОВКА В ПУСТЫНЕ	61
СТИХИ НА БУТЫЛКЕ, ПОДАРЕННОЙ АНДРЕЮ СЕРГЕЕВУ	65
«Сумерки. Снег. Тишина. Весьма...»	68
К СТИХАМ	71
«Коньяк в графине – цвета янтаря...»	73
ОТРЫВОК	76
ОТРЫВОК	77
ПО ДОРОГЕ НА СКИРОС	78
«Сын! Если я не мертв, то потому...»	80
ЭЛЕГИЯ НА СМЕРТЬ	82
1 СЕНТЯБРЯ 1939 ГОДА	84
ФОНТАН	85
НЕОКОНЧЕННЫЙ ОТРЫВОК	87
ПРОЩАЙТЕ, МАДЕМУАЗЕЛЬ ВЕРОНИКА	89
«Время года – зима. На границах спокойствие. Сны...»	99
ANNO DOMINI	101
«Я выпил газированной воды...»	105
ПЕСНЯ ПУСТОЙ ВЕРАНДЫ	107

Бродский Иосиф

Стихи (3)

«Ни страны, ни погоста...»

Ни страны, ни погоста
не хочу выбирать.
На Васильевский остров
я приду умирать.
Твой фасад темно-синий
я впотьмах не найду.
Между выцветших линий
на асфальт упаду.

И душа, неустанно
поспешая во тьму,
промелькнет над мостами
в петроградском дыму,
и апрельская морось,
над затылком снежок,
и услышу я голос:
– До свиданья, дружок.

И увижу две жизни
далеко за рекой,

к равнодушной отчизне
прижимаясь щекой, —
словно девочки-сестры
из непрожитых лет,
выбегая на остров,
машут мальчику вслед.

Иосиф Бродский. Назидание. СПб «СМАРТ», 1990.

«Я памятник воздвиг себе иной!..»

Я памятник воздвиг себе иной!
К постыдному столетию – спиной.
К любви своей потерянной – лицом.
И грудь – велосипедным колесом.
А ягодицы – к морю полуправд.
Какой ни окружай меня ландшафт,
чего бы ни пришлось мне извинять,
я облик свой не стану изменять.
Мне высота и поза та мила.
Меня туда усталось вознесла.
Ты, Муза, не вини меня за то.
Рассудок мой теперь, как решето,
а не богами налитый сосуд.
Пускай меня низвергнут и снесут,
пускай в самоуправстве обвинят,
пускай меня разрушат, расчленят,
в стране большой, на радость детворе
из гипсового бюста во дворе
сквозь белые незрячие глаза
струей воды ударю в небеса.

Иосиф Бродский. Назидание. СП «СМАРТ», 1990.

«Шум ливня воскрешает по углам...»

Шум ливня воскрешает по углам
салют мимозы, гаснущей в пыли.
И вечер делит сутки пополам,
как ножницы восьмерку на нули,
а в талии сужает циферблат,
с гитарой его сходство озарив.
У задержавшей на гитаре взгляд
пучок волос напоминает гриф.

Ее ладонь разглаживает шаль.
Волос ее коснуться или плеч
и зазвучит окрепшая печаль;
другого ничего мне не извлечь.
Мы здесь одни. И, кроме наших глаз,
прикованных друг к другу в полутьме,
ничто уже не связывает нас
в зарешеченной наискось тюрьме.

Иосиф Бродский. Назидание. СП «СМАРТ», 1990.

* * *

Вполголоса – конечно, не во весь
прощаюсь навсегда с твоим порогом.
Не шелохнется град, не встрепенется весь
от голоса приглушенного. С Богом!
По лестнице, на улицу, во тьму...
Перед тобой – окраины в дыму,
простор болот, вечерняя прохлада.
Я не преграда взору твоему,
словам твоим печальным – не преграда.
И что он – отсюда не видать.
Пучки травы... и лиственниц убранство...
Тебе не в радость, мне не в благодать
безлюдное, доступное пространство.

1966 (?)

Сочинения Иосифа Бродского. Пушкинский фонд.
Санкт-Петербург, 1992.

POSTSCRIPTUM

Как жаль, что тем, чем стало для меня
твое существование, не стало
мое существование для тебя.

...В который раз на старом пустыре
я запускаю в проволочный космос
свой медный грош, увенчанный гербом,
в отчаянной попытке возвеличить
момент соединения... Увы,
тому, кто не умеет заменить
собой весь мир, обычно остается
крутить щербатый телефонный диск,
как стол на спиритическом сеансе,
покуда призрак не ответит эхом
последним воплям зуммера в ночи.

Сочинения Иосифа Бродского. Пушкинский фонд.
Санкт-Петербург, 1992.

«На прения с самим собою ночь...»

На прения с самим собою ночь
убив, глотаешь дым, уже не прочь
в набрякшую гортань рукой залезть.
По пуговицам грань готов провесть.

Чиняя себе правёж, душе, уму,
порою изведешь такую тьму
и времени и слов, что ломит грудь,
что в зеркало готов подчас взглянуть.

Но это только ты, и жизнь твоя
уложена в черты лица, края
которого тверды в беде, в труде
и, видимо, чужды любой среде.

Но это только ты. Твое лицо
для спорящей четы само кольцо.
Не зеркала вина, что скривлен рот:
ты Лотова жена и сам же Лот.

Но это только ты. А фон твой – ад.
Смотри без суеты вперед. Назад
без ужаса смотри. Будь прям и горд,

раздроблен изнутри, на ощупь тверд.

Сочинения Иосифа Бродского. Пушкинский фонд.
Санкт-Петербург, 1992.

СТРОФЫ

I

На прощанье – ни звука.
Грамофон за стеной.
В этом мире разлука
лишь прообраз иной.
Ибо врозь, а не подле
мало веки смежать
вплоть до смерти. И после
нам не вместе лежать.

II

Кто бы ни был виновен,
но, идя на правож,
воздаяния вровень
с невиновным не ждешь.
Тем верней расстаемся,
что имеем в виду,
что в раю не сойдемся,

не столкнемся в аду.

III

Как подзол раздирает
бороздою соха,
правота разделяет
беспощадней греха.
Не вина, но оплошность
разбивает стекло.
Что скорбеть, расколовшись,
что вино утекло?

IV

Чем тесней единенье,
тем кромешней разрыв.
Не спасут затемненья
ни рапид, ни наплыв.
В нашей твердости толка
больше нету. В чести
одаренность осколка,
жизнь сосуда вести.

V

Наполняйся же хмелем,
осушайся до дна.
Только емкость поделим,
но не крепость вина.
Да и я не загублен,
даже ежели впредь,
кроме сходства зазубрин,
общих черт не узреть.

VI

Нет деленья на чуждых.
Есть граница стыда
в виде разницы в чувствах
при словце «никогда».
Так скорбим, но хороним,
переходим к делам,
чтобы смерть, как синоним,
разделить пополам.

VII

.....
.....
.....
.....

VIII

Невозможность свиданья
превращает страну
в вариант мирозданья,
хоть она в ширину,
завидущая к славе,
не уступит любой
залетейской державе;
превзойдет голытьбой.

IX

.....

.....
.....
.....

X

Что ж без пользы неволишь
уничтожить следы?
Эти строки всего лишь
подголосок беды.
Обрастание сплетней
подтверждает к тому ж:
расставанье заметней,
чем слияние душ.

XI

И, чтоб гончим не выдал —
Ни моим, ни твоим
адрес мой – храпоидол
или твой – херувим,
на прощанье – ни звука;
только хор Аонид.
Так посмертная мука

и при жизни саднит.

Сочинения Иосифа Бродского. Пушкинский фонд.
Санкт-Петербург, 1992.

НЕОКОНЧЕННЫЙ ОТРЫВОК

Во время ужина он встал из-за стола
и вышел из дому. Луна светила
по-зимнему, и тени от куста,
превозмогая завитки ограды,
так явственно чернели на снегу,
как будто здесь они пустили корни.
Сердцебиенье, ни души вокруг.

Так велико желание всего
живущего преодолеть границы,
распространиться ввысь и в ширину,
что, стоит только выглянуть светилу,
какому ни на есть, и в тот же миг
окрестности становятся добычей
не нас самих, но устремлений наших.

1972

Сочинения Иосифа Бродского. Пушкинский фонд.
Санкт-Петербург, 1992.

ПОЧТИ ЭЛЕГИЯ

В былые дни и я переживал
холодный дождь под колоннадой Биржи.
И полагал, что это – божий дар.
И, может быть, не ошибался. Был же
и я когда-то счастлив. Жил в плену
у ангелов. Ходил на вурдалаков.
Сбегавшую по лестнице одну
красавицу в парадном, как Иаков,
подстерегал. Куда-то навсегда
ушло все это. Спряталось. Однако,
смотря в окно и, написав «куда»,
не ставлю вопросительного знака.
Теперь сентябрь. Передо мною – сад.
Далекий гром закладывает уши.
В густой листве налившиеся груши
как мужеские признаки висят.
И только ливень в дремлющий мой ум,
как в кухню дальних родственников – скаред,
мой слух об эту пору пропускает:
не музыку еще, уже не шум.

Осень 1968

Сочинения Иосифа Бродского. Пушкинский фонд.
Санкт-Петербург, 1992.

ПИЛИГРИМЫ

*Мои мечты и чувства в сотый раз
идут к тебе дорогой пилигримов.*

В. Шекспир

Мимо ристалищ, капищ,
мимо храмов и баров,
мимо шикарных кладбищ,
мимо больших базаров,
мира и горя мимо,
мимо Мекки и Рима,
синим солнцем палимы,
идут по земле пилигримы.
Увечны они, горбаты,
голодны, полуодеты,
глаза их полны заката,
сердца их полны рассвета.
За ними поют пустыни,
вспыхивают зарницы,
звезды дрожат над ними,
и хрипло кричат им птицы:
что мир останется прежним,
да, останется прежним,
ослепительно снежным
и сомнительно нежным,
мир останется лживым,

мир останется вечным,
может быть, постижимым,
но все-таки бесконечным.
И, значит, не будет толка
от веры в себя да в Бога.
...И значит, остались только
иллюзия и дорога.
И быть над землей закатам,
и быть над землей рассветам.
Удобрить ее солдатам.
Одобрить ее поэтам.

1958

Строфы века. Антология русской поэзии. Сост.
Е.Евтушенко. Минск-Москва, «Полифакт», 1995.

ПЕСНЯ НЕВИННОСТИ, ОНА ЖЕ – ОПЫТА

*«On a cloud I saw a child, and he laughing said
to me...»*

W. Blake¹

1

Мы хотим играть на лугу в пятнашки,
не ходить в пальто, но в одной рубашке.
Если вдруг на дворе будет дождь и слякоть,
мы, готовя уроки, хотим не плакать.

Мы учебник прочтем, вопреки заглавью.
Все, что нам приснится, то станет явью.
Мы полюбим всех, и в ответ – они нас.
Это самое лучшее: плюс на минус.

Мы в супруги возьмем себе дев с глазами
дикой лани; а если мы девы сами,
то мы юношей стройных возьмем в супруги,

¹ «...Дитя на облачке узрел я, оно мне молвило, смеясь...» Вильям Блейк

и не будем чаять души друг в друге.

Потому что у куклы лицо в улыбке,
мы, смеясь, свои совершим ошибки.
И тогда живущие на покое
мудрецы нам скажут, что жизнь такое.

2

Наши мысли длинней будут с каждым годом.
Мы любую болезнь победим иодом.
Наши окна завешаны будут тюлем,
а не забраны черной решеткой тюрем.

Мы с приятной работы вернемся рано.
Мы глаза не спустим в кино с экрана.
Мы тяжелые брошки приколем к платьям.
Если кто без денег, то мы заплатим.

Мы построим судно с винтом и паром,
целиком из железа и с полным баром.
Мы взойдем на борт и получим визу,
и увидим Акрополь и Мону Лизу.

Потому что число континентов в мире
с временами года, числом четыре,

перемножив и баки залив горючим,
двадцать мест поехать куда получим.

3

Соловей будет петь нам в зеленой чаще.
Мы не будем думать о смерти чаще,
чем ворона в виду огородных пугал.
Согрешивши, мы сами и встанем в угол.

Нашу старость мы встретим в глубоком кресле,
в окружении внуков и внучек. Если
их не будет, дадут посмотреть соседи
в телевизоре гибель шпионской сети.

Как нас учат книги, друзья, эпоха:
завтра не может быть так же плохо,
как вчера, и слово сие писати
in tempore следует нам passati.

Потому что душа существует в теле,
Жизнь будет лучше, чем мы хотели.
Мы пирог свой зажарим на чистом сале,
ибо так вкуснее; нам так сказали.

«Hear the voice of the Bard!» W.Blake ²

1

Мы не пьем вина на краю деревни.
Мы не ладим себя в женихи царевне.
Мы в густые щи не макаем лапоть.
Нам смеяться стыдно и скушно плакать.

Мы дугу не гнем пополам с медведем.
Мы на сером волке вперед не едем,
и ему не встать, уколовшись шприцем
или оземь грянувшись, стройным принцем.

Зная медные трубы, мы в них не трубим.
Мы не любим подобных себе, не любим
тех, кто сделан был из другого теста.
Нам не нравится время, но чаще – место.

Потому что север далек от юга,
наши мысли цепляются друг за друга,
когда меркнет солнце, мы свет включаем,

² «Внемлите глас Певца!» Вильям Блейк

завершая вечер грузинским чаем.

2

Мы не видим всходов из наших пашен.
Нам судья противен, защитник страшен.
Нам дороже свайка, чем матч столетья.
Дайте нам обед и компот на третье.

Нам звезда в глазу, что слеза в подушке.
Мы боимся короны во лбу лягушки,
бородавок на пальцах и прочей мрази.
Подарите нам тюбик хорошей мази.

Нам приятней глупость, чем хитрость лисья,
Мы не знаем, зачем на деревьях листья.
И, когда их срывает Борей до срока,
ничего не чувствуем, кроме шока.

Потому что тепло переходит в холод,
наш пиджак зашит, а тулуп проколот.
Не рассудок наш, а глаза ослабли,
чтоб искать отличие орла от цапли.

Мы боимся смерти, посмертной казни.
Нам знаком при жизни предмет боязни:
пустота вероятней и хуже ада.
Мы не знаем, кому нам сказать: «не надо».

Наши жизни, как строчки, достигли точки.
В изголовьи дочки в ночной сорочке
или сына в майке не встать нам снами.
Наша тень длиннее, чем ночь пред нами.

То не колокол бьет над угрюмым вечем!
Мы уходим во тьму, где светить нам нечем.
Мы спускаем флаги и жжем бумаги.
Дайте нам припасть напоследок к флаге.

Почему все так вышло? И будет ложью
на характер свалить или Волю Божью.
Разве должно было быть иначе?
Мы платили за всех, и не нужно сдачи.

1972

Иосиф Бродский. Назидание. СП «СМАРТ», 1990.

НАТЮРМОРТ

Verra la morte e avra i tuoi occhi.
C. Pavese³

1

Вещи и люди нас
окружают. И те,
и эти терзают глаз.
Лучше жить в темноте.

Я сижу на скамье
в парке, глядя вослед
проходящей семье.
Мне опротивел свет.

Это январь. Зима
Согласно календарю.
Когда опротивеет тьма,
тогда я заговорю.

³ «Придет смерть, и у нее будут твои глаза» Ч.Павезе

2

Пора. Я готов начать.
Неважно, с чего. Открыть
рот. Я могу молчать.
Но лучше мне говорить.

О чем? О днях, о ночах.
Или же – ничего.
Или же о вещах.
О вещах, а не о

людях. Они умрут.
Все. Я тоже умру.
Это бесплодный труд.
Как писать на ветру.

3

Кровь моя холодна.
Холод ее лютей
реки, промерзшей до дна.
Я не люблю людей.

Внешность их не по мне.
Лицами их привит
к жизни какой-то не —
покидаемый вид.

Что-то в их лицах есть,
что противно уму.
Что выражает лесть
неизвестно кому.

4

Вещи приятней. В них
нет ни зла, ни добра
внешне. А если вник
в них – и внутри нутра.

Внутри у предметов – пыль.
Прах. Древоточец-жук.
Стенки. Сухой мотыль.
Неудобно для рук.

Пыль. И включенный свет
только пыль озарит.
Даже если предмет
герметично закрыт.

5

Старый буфет извне
так же, как изнутри,
напоминает мне
Нотр-Дам де Пари.

В недрах буфета тьма.
Швабра, епитрахиль
пыль не сотрут. Сама
вещь, как правило, пыль

не тщится перебороть,
не напрягает бровь.
Ибо пыль – это плоть
времени; плоть и кровь.

6

Последнее время я
сплю среди бела дня.
Видимо, смерть моя
испытывает меня,

поднося, хоть дышу,
зеркало мне ко рту,
как я переносу
небытие на свету.

Я неподвижен. Два
бедрa холодны, как лед.
Венозная синева
мрамором отдает.

7

Преподнося сюрприз
суммой своих углов
вещь выпадает из
миропорядка слов.

Вещь не стоит. И не
движется. Это – бред.
Вещь есть пространство, вне
коего вещи нет.

Вещь можно грохнуть, сжечь,
распотрошить, сломать.
Бросить. При этом вещь

не крикнет: «Ебёна мать!»

8

Дерево. Тень. Земля
под деревом для корней.
Корявые вензеля.
Глина. Гряда камней.

Корни. Их переплет.
Камень, чей личный груз
освобождает от
данной системы уз.

Он неподвижен. Ни
сдвинуть, ни унести.
Тень. Человек в тени,
словно рыба в сети.

9

Вещь. Коричневый цвет
вещи. Чей контур стерт.
Сумерки. Больше нет

ничего. Натюрморт.

Смерть придет и найдет
тело, чья гладь визит
смерти, точно приход
женщины, отразит.

Это абсурд, вранье:
череп, скелет, коса.
«Смерть придет, у нее
будут твои глаза».

10

Мать говорит Христу:
– Ты мой сын или мой Бог?
Ты прибит к кресту.
Как я пойду домой?

Как ступлю на порог,
не поняв, не решив:
ты мой сын или Бог?
То есть, мертв или жив?

Он говорит в ответ:
– Мертвый или живой,

разницы, жено, нет.
Сын или Бог, я твой.

1971

Строфы века. Антология русской поэзии. Сост.
Е.Евтушенко. Минск-Москва, «Полифакт», 1995.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ РОМАНС

Евгению Рейну, с любовью

Плывет в тоске необъяснимой
среди кирпичного надсада
ночной кораблик негасимый
из Александровского сада,
ночной фонарик нелюдимый,
на розу желтую похожий,
над головой своих любимых,
у ног прохожих.

Плывет в тоске необъяснимой
пчелиный ход сомнамбул, пьяниц,
в ночной столице фотоснимок
печально сделал иностранец,
и выезжает на Ордынку
такси с больными седоками,
и мертвецы стоят в обнимку
с особняками.

Плывет в тоске необъяснимой
певец печальный по столице,
стоит у лавки керосинной
печальный дворник круглолицый,

спешит по улице невзрачной
любовник старый и красивый.
Полночный поезд новобрачный
плывет в тоске необъяснимой.

Плывет во мгле замоскворецкой,
пловец в несчастье случайный,
блуждает выговор еврейский
на желтой лестнице печальной,
и от любви до невеселья
под Новый Год, под воскресенье,
плывет красotka записная,
своей тоски не объясняя.

Плывет в глазах холодный вечер,
дрожат снежинки на вагоне,
морозный ветер, бледный ветер
обтянет красные ладони,
и льется мед огней вечерних,
и пахнет сладкою халвою,
ночной пирог несет сочельник
над головою.

Твой Новый Год по темно-синей
волне среди моря городского
плывет в тоске необъяснимой,
как будто жизнь начнется снова,
как будто будет свет и слава,
удачный день и вдоволь хлеба,

как будто жизнь качнется вправо,
качнувшись влево.

28 декабря 1961

Строфы века. Антология русской поэзии. Сост.
Е.Евтушенко. Минск-Москва, «Полифакт», 1995.

УТОЧНЕНИЕ

Откуда ни возьмись как резкий взмах
Божественная высь в твоих словах
как отповедь, верней, как зов: «за мной!»
над нежностью моей, моей, земной.
Куда же мне? На звук! За речь. За взгляд.
За жизнь. За пальцы рук. За рай. За ад.
И, тень свою губя (не так ли?), хоть
за самого себя. Верней, за плоть.
За сдержанность, запал, всю боль – верней,
всю лестницу из шпал, стремянку дней
восставив – поднимусь! (Не тело – пуст!)
Как эхо, я коснусь и стоп, и уст.
Звучи же! Меж ветвей, в глуши, в лесу,
здесь, в памяти твоей, в любви, внизу
постичь – на самом дне! не по плечу:
нисходишь ли ко мне, иль я лечу.

1960е

Сочинения Иосифа Бродского. Пушкинский фонд.
Санкт-Петербург, 1992.

«Сначала в бездну свалился стул...»

Сначала в бездну свалился стул,
потом – упала кровать,
потом – мой стол. Я его толкнул
сам. Не хочу скрывать.
Потом – учебник «Родная речь»,
фото, где вся моя семья.
Потом четыре стены и печь.
Остались пальто и я.
Прощай, дорогая. Сними кольцо,
выпиши вестник мод.
И можешь плюнуть тому в лицо,
кто место мое займет.

1966

Сочинения Иосифа Бродского. Пушкинский фонд.
Санкт-Петербург, 1992.

«Предпоследний этаж...»

Предпоследний этаж
раньше чувствует тьму,
чем окрестный пейзаж;
я тебя обниму
и закутаю в плащ,
потому что в окне
дождь – заведомый
плач по тебе и по мне.

Нам пора уходить.
Рассекает стекло
серебристая нить.
Навсегда истекло
наше время давно.
Переменим режим.
Дальше жить суждено
по брегетам чужим.

Сочинения Иосифа Бродского. Пушкинский фонд.
Санкт-Петербург, 1992.

ШЕСТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

М. Б.

Так долго вместе прожили, что вновь
второе января пришлось на вторник,
что удивленно поднятая бровь,
как со стекла автомобиля – дворник,
с лица сгоняла смутную печаль,
незамутненной оставляя даль.

Так долго вместе прожили, что снег
коль выпадал, то думалось – навеки,
что, дабы не зажмуривать ей век,
я прикрывал ладонью их, и веки,
не веря, что их пробуют спасти,
метались там, как бабочки в горсти.

Так чужды были всякой новизне,
что тесные объятия во сне
бесчестили любой психоанализ;
что губы, припадавшие к плечу,
с моими, задувавшими свечу,
не видя дел иных, соединялись.

Так долго вместе прожили, что роз

семейство на обшарпанных обоях
сменилось целой рощей берез,
и деньги появились у обоих,
и тридцать дней над морем, языкат,
грозил пожаром Турции закат.

Так долго вместе прожили без книг,
без мебели, без утвари на старом
диванчике, что – прежде, чем возник, —
был треугольник перпендикуляром,
восставленным знакомыми стоймя
над слившимися точками двумя.

Так долго вместе прожили мы с ней,
что сделали из собственных теней
мы дверь себе – работаешь ли, спишь ли,
но створки не распахивались врозь,
и мы прошли их, видимо, насквозь
и черным ходом в будущее вышли.

Строфы века. Антология русской поэзии. Сост.
Е.Евтушенко. Минск-Москва, «Полифакт», 1995.

«Сумев отгородиться от людей...»

Сумев отгородиться от людей,
я от себя хочу отгородиться.
Не изгородь из тесаных жердей,
а зеркало тут больше пригодится.
Я созерцаю хмурые черты,
щетину, бугорки на подбородке...
Трельяж для разводящейся четы,
пожалуй, лучший вид перегородки.
В него влезают сумерки в окне,
край пахоты с огромными скворцами
и озеро – как брешь в стене,
увенчанной еловыми зубцами.
Того гляди, что из озерных дыр
да и вообще – через любую лужу
сюда ползет посторонний мир.
Иль этот уползет наружу.

1966

Сочинения Иосифа Бродского. Пушкинский фонд.
Санкт-Петербург, 1992.

ОСВОЕНИЕ КОСМОСА

Чердачное окно отворено.
Я выглянул в чердачное окно.
Мне подоконник врезался в живот.
Под облаками кувыркнулся голубь.
Над облаками синий небосвод
не потолок напоминал, а прорубь.

Светило солнце. Пахло резедой.
Наш флюгер верещал, как козодой.
Дом тень свою отбрасывал. Забор
не тень свою отбрасывал, а зебру,
что несколько уродовало двор.
Поодаль гумна оседали в землю.

Сосед-петух над клушей мельтешил.
А наш петух тоску свою глушил,
такое видя, в сильных кукареках.
Я сухо этой драмой пренебрег,
включил приемник «Родина» и лег.
И этот Вавилон на батарейках

донес, что в космос взвился человек.
А я лежал, не поднимая век,
и размышлял о мире многоликом.

Я рассуждал: зевай иль примечай,
но все равно о малом и великом
мы, если узнаём, то невзначай.

1966

Сочинения Иосифа Бродского. Пушкинский фонд.
Санкт-Петербург, 1992.

НЕОКОНЧЕННЫЙ ОТРЫВОК

В стропилах воздух ухает, как сыч.
Скрипит ольха у дальнего колодца.
Бегущий лес пытается настичь
бегущие поля. И удастся
порой березам вырваться вперед
и вклиниться в позиции озимых
шеренгой или попросту вразброд,
особенно на склоне и в низинах.
Но озими, величия полны,
спасаясь от лесного гарнизона,
готовы превратиться в валуны,
как нимфы из побасенок Назона.
Эгей, эгей! Холмистый край, ответь,
к кому здесь лучше присоединиться?
К погоне, за которую медведь?
К бегущим, за которых медуница?

1966

Сочинения Иосифа Бродского. Пушкинский фонд.
Санкт-Петербург, 1992.

МОРСКИЕ МАНЕВРЫ

Атака птеродактилей на стадо
ихтиозавров.

Вниз на супостата
пикирует огнедышащий ящер
скорей потомок, нежели наш пращур.

Какой-то год от Рождества Христова.
Проблемы положенья холостого.
Гостиница.

И сотрясает люстру
начало возвращения к моллюску.

Июнь 1967, Севастополь

Сочинения Иосифа Бродского. Пушкинский фонд.
Санкт-Петербург, 1992.

«Отказом от скорбного перечня – жест...»

Отказом от скорбного перечня – жест
большой широты в крохоборе! —
сжимая пространство до образа мест,
где я пресмыкался от боли,
как спившийся кравец в предсмертном бреду,
заплатой на барское платье,
с изнанки твоих горизонтов кладу
на подвижность эту заклятье!

Проулки, предместья, задворки – любой
твой адрес – пустырь, палисадник, —
что избрано будет для жизни тобой,
давно, как трагедии задник,
настолько я обжил, что где бы любви
своей не воздвигла ты ложе,
все будет не краше, чем храм на крови,
и общим бесплодием схоже.

Прими ж мой процент, разменяв чистоган
разлуки на брачных голубок!
За лучшие дни поднимаю стакан,
как пьет инвалид за обрубок.
На разницу в жизни свернув костыли,

будь с ней до конца солидарной:
не мягче на сплетне себе постели,
чем мне на листве календарной.

И мертвым я буду существенней для тебя,
чем холмы и озера:
не большую правду скрывает земля,
чем та, что открыта для взора!
В тылу твоём каждый растоптанный знак
воспрянет, как петел ледащий.
И будут круги расширяться, как зрак
вдогонку тебе, уходящей.

Глушеною рыбой всплывая со дна,
кочуя, как призрак – по требам,
как тело, истлевшее прежде рядна,
как тень моя, взапуски с небом,
повсюду начнет возвещать обо мне
тебе, как заправский мессия,
и корчится будут на каждой стене
в том доме, чья крыша – Россия.

Июнь 1967

Сочинения Иосифа Бродского. Пушкинский фонд.
Санкт-Петербург, 1992.

«Волосы за висок...»

Волосы за висок
между пальцев бегут,
как волны, наискосок,
и не видно губ,
оставшихся на берегу,
лица, сомкнутых глаз,
замерших на бегу
против течения. Раз —

розненный мир черт
нечем соединить.
Ночь напролет след,
путеводную нить
ищут язык, взор,
подобно борзой,
упираясь в простор,
рассеченный слезой.

Вверх по течению, вниз —
я. Сомкнутых век
не раскрыв, обернись:
там, по течению вверх,
что (не труди глаза)
там у твоей реки?

Не то же ли там, что за
устьем моей руки?

Мир пятерни. Срез
ночи. И мир ресниц.
Тот и другой без
обозримых границ.
И наши с тобой слова,
помыслы и дела
бесконечны, как два
ангельские крыла.

1967

Сочинения Иосифа Бродского. Пушкинский фонд.
Санкт-Петербург, 1992.

ПОДРАЖАНИЕ САТИРАМ, СОЧИНЕННЫМ КАНТЕМИРОМ

На объективность

Зла и добра, больно умен, грань почто топчешь?
Та ли пора? Милый Дамон, глянь, на что ропщешь.
Против вины чьей, не кричи, страсть обуяла?
Ты ли с жены тащишь в ночи часть одеяла?
Топчешь, крича: «Благо не печь. Благо не греет».
Но без луча, что ни перечь, семя не зреет.
Пусто речешь: «Плевел во ржи губит всю веру».
В хлебе, что ешь, много ль, скажи, видел плевелу?
«Зло входит в честь разных времен: в наши и в
оны».
Видишь ли днесь, милый Дамон, злу Пантеоны?
«Зло и добро парюю рук часто сдается.
Деве равно все, что вокруг талии вьется.
Чую, смущен, волю кружить птице двуглавой...»
Левой, Дамон, дел не свершить, сделанных
правой.
«Так. Но в гробу, узком вельми, зреть себя нага,
бывши во лбу пядей семи, – это ли благо?
Нынче стою. Завтра, пеняй, лягу колодой».

Душу свою, друг, не равняй с милой природой!

Жизнь не медаль, видная нам словом и бюстом.
В жизни есть даль, близкая снам, чуждая чувствам
злым и благим, где ни ногой Бог и свобода.
Что до богинь, в деве нагой зрим антипода.
Кабы не так, были сейчас волками в стае.
Герб на пятак был бы у нас, решка – в Китае.
Сплющили б лоб. В бездну сошло б солнце
Давида.

Был бы потоп. Брали бы в гроб аз алфавита.
Полно, Дамон. Всюду свой рубль, свой иероглиф.
Царь Соломон зрением вглубь так ли уродлив?
Страсти не рать: сих областей в ночь не воруют.
Полно стирать грани страстей. Так не воют.
Жизнь не медаль. Мир – не чекан двух оборотов.
В жизни есть даль, тянуща ан птиц желторотых.
Видно, бежит грубых рамен маетность птичья.
Мудрый, как жид, милый Дамон, вот тебе притча:
Скраден сосуд. Ловит, глядишь, страж голодранца.
Вора спасут ноги, ты мнишь? Только пространство!

Тот же простор прячет благих Кесаря копий,
строит шатер, греет нагих, в ссадину корпий
кладет, как хлеб кладет в уста, потчюя сирот.
В овчий вертеп прячет Христа – хер тебе, Ирод.
Аз воздает: застит рабам перлы в короне.
Волю дает, дав по рогам, белой корове.
В землях и днях твердый рубеж царствию кладет.

В жадных песках, смерти промеж, делает кладезь.
Кесаря мощь копья о плащ ночи иступит,
воинству роц, воинству чащ цифрой уступит.
Коль не пришит к месту, то жать стало ли уши?
Суша страшит – морем бежать можешь от суши.
Что есть длиной близко сравнить с пахотой
Млечной?

К деве одной сердце стремить – что бесконечней?
Что не расчесть: матери ждать плод из утробы
дольше, чем здесь грани стирать блага и злобы.
В грешной душе коль наторел в скорбну годину,
мнишь, что уже мир обозрел? Драхму едину.

Право, Дамон, зря ты сравнил. Вышло печально.
Друг, убежден: ты возомнил сходство случайно.
Есть в рубеже смертном надрыв, страшно до дури.
Слабой душе смерть есть призыв к бегству к
Натуре.

Так ли ты, мнил, будешь в гробу? Мнил:
постоянство.

Ан получил злую судьбу: вечное странство.
Ищешь, гляжу, путь к рубежу с черного хода.
Друг, не сужу. Больше скажу: Бог – не природа.
Друг, не боись. Я не грожу. С миром рассорюсь.
Гляючи ввысь, больше скажу: Бог и не совесть.
Он – их творец. Ноне проверь, милый приятель,
кто нам: дворец – жизни пример – или создатель?
Выше ль глава день ото дня с перечня комнат?
Эти слова пусть от меня Кушнер запомнит.

Пусть (не вини: это не суд) помнят поющи:
в жизни есть дни, где не спасут честность и кущи.
Загнанный зверь статуй певца с цоколя сбросит,
ибо, поверь, нищи сердца с мертвого спросят.

Зла и добра, милый Дамон, грань почто топчешь?
Та ли пора? Больно умен. Глянь, на что ропщешь.
То, что вчера дух веселя, ноне уж плохо?
Та ли пора? Та ли земля? Та ли эпоха?
Друг, не сочти этих словес «с пушки по мухам».
Дело прочти – сказано есть: «нищие духом
пьют благодать» – узрят, внемли, царство небесно.
Что ж отдавать им на земли царство любезно?
То ли не стыд? Ан отдаем. Благо, не пищей.
Так и плодит – кабы вдвоем! – нищего нищий.
Пусто твердишь: «Светоч и тьма – вроде два
брата».

Сам и плодишь. Резвость ума хуже разврата.
В том-то и суть: крепок орех – порчены зубы.
Не обессудь: это и грех. Грех не прелюбы.
Спать не любя суть чепуха. Много мотиву.
Грех на себя. Нету греха ближних противу.
Скорбно ли есть душу терзать? Скорбно ли аще
грешную десть на душу взять? Сахару слаще.

Каяться мнишь, схиму принять, лбом да о паперть.
После глядишь, спереди гладь, белая скатерть.
Бога узрел! Сзади одна мелкая сошка.
В этом, пострел, благодать видна. Так и спасешься.

Тож кораблю в бурю канал нужен для бегства.
Сильно скорблю: Каин не знал этого средства.
Как ни греши, можно ухват счистить от сажи.
Выкуп души благом чреват. Драхма все та же!
Полно, Дамон, что за тоска правда двуличья.
Я утомлен. Альфа людска – духа величье.
Дух – благодать тверди иной к горсточке праха,
дабы не знать в глине земной смертного страха.
Дух – это нить с небом связать глины уродство,
дабы лишить мест осязать наше сиротство.
Нитку порвешь оных щедрот – кайся на ветер.
Каяться то ж ждать, чтобы тот благом ответил,
коего аж, больно умен, вытолкал в груди.
Много не дашь этим, Дамон, форы Иуде.

Где раздобыть, Муза-сестра, тело, размером
могуще быть Зла и Добра в мире примером?
Сколь ни кружу взором своим всюду по свету,
все не слежу равного им в мире предмету.
Сиречь, сужу, мыслею длянсь: здесь они сиры.
Больше скажу: грудью сойдясь, две этих Силы,
чужды побед, рубятся в прах, точно капуста.
Виктора нет. То-то и страх: главные чувства
в черной земле мертвы лежат в роще цветущей.
Молча вдали враны кружат жизни грядущей.
Умер пароль, ведший нас чрез часты тенета.
«Льется отколь, полная слез, плачуща нота?
Чей там хорал в землю ведет часть превосходну?»
Тот, кто терял, тот и поет песню отходну.

Кто обладал, может поднять плач по урону.
«Кто пострадал?» Разве понять это Дамону?
Царь во главе, можно простить, век не ночует.
Могущий две бездны вместить третью почует!

Пусто рядить, лира, правеж. Муза устала.
Все прекратить! Мне невтерпеж. Сердца не стало.
Спорщик мой где? В окнах ни зги. Пусто на кресле.
Дать по балде, чтобы мозги горлом полезли!
Силы ушли. Где мой Критон? Где ему деться?
Вижу: вдали к деве Дамон в спальню крадется.
Снег у крылец след порошит. Хитро устроил!
Бедный чернец. «Плоть не грешит». То и усвоил.
Впрочем, богат. Драхму язык держит прилежно.
То ль наугад к деве проник, действуя нежно,
то ли на дно Лоты глядит с борта корыты...
Вижу одно: с кем-то стоит, губы раскрыты.
Не разглядеть – дева, старик? – в точности лика.
Что тут скорбеть? Вот и достиг сходства велика.
Вот тебе месть: сам разгляди сразу два зайца.
Тщишься расчесть, милый, поди, с кем оказался?
Действуй смелей! Больно умен. Вместо ответа:
стоят твоей драхмы, Дамон, дева и Лета.

Четверть листа. Свечи трещат. Тени перечут.
Смотрит звезда в полный ушат. Мыши щебечут.
Бросим перо. Хаять глупца – это ли доблесть?
Так ли хитро? Древня венца сим не сподоблюсь.
Образы, прочь! Чашу с вином! Чествуем древних.

Поздняя ночь. Снег за окном в виде деревьев.

Март 1966

Сочинения Иосифа Бродского. Пушкинский фонд.
Санкт-Петербург, 1992.

ОСТАНОВКА В ПУСТЫНЕ

Теперь так мало греков в Ленинграде, что мы сломали Греческую церковь, дабы построить на свободном месте концертный зал. В такой архитектуре есть что-то безнадежное. А впрочем, концертный зал на тыщу с лишним мест не так уж безнадежен: это – храм, и храм искусства. Кто же виноват, что мастерство вокальное дает сбор больший, чем знамена веры? Жаль только, что теперь издалека мы будем видеть не нормальный купол, а безобразно плоскую черту. Но что до безобразия пропорций, то человек зависит не от них, а чаще от пропорций безобразья.

Прекрасно помню, как ее ломали. Была весна, и я как раз тогда ходил в одно татарское семейство, неподалеку жившее. Смотрел в окно и видел Греческую церковь. Все началось с татарских разговоров; а после в разговор вмешались звуки,

сливавшиеся с речью поначалу,
но вскоре – заглушившие ее.
В церковный садик въехал экскаватор
с подвешенной к стреле чугунной гирей.
И стены стали тихо поддаваться.
Смешно не поддаваться, если ты
стена, а пред тобою – разрушитель.

К тому же экскаватор мог считать
ее предметом неодушевленным
и, до известной степени, подобным
себе. А в неодушевленном мире
не принято давать друг другу сдачи.
Потом туда согнали самосвалы,
бульдозеры... И как-то в поздний час
сидел я на развалинах абсиды.
В провалах алтаря зияла ночь.
И я – сквозь эти дыры в алтаре
смотрел на убежавшие трамваи,
на вереницу тусклых фонарей.
И то, чего вообще не встретишь в церкви,
теперь я видел через призму церкви.

Когда-нибудь, когда не станет нас,
точнее – после нас, на нашем месте
возникнет тоже что-нибудь такое,
чему любой, кто знал нас, ужаснется.
Но знавших нас не будет слишком много.
Вот так, по старой памяти, собаки

на прежнем месте задирают лапу.
Ограда снесена давным-давно,
но им, должно быть, грезится ограда.
Их грезы перечеркивают явь.
А может быть, земля хранит тот запах:
асфальту не осилить запах псины.
И что им этот безобразный дом!
Для них тут садик, говорят вам – садик.
А то, что очевидно для людей,
собакам совершенно безразлично.
Вот это и зовут: «собачья верность».
И если довелось мне говорить
всерьез об эстафете поколений,
то верю только в эту эстафету.
Вернее, в тех, кто ощущает запах.

Так мало нынче в Ленинграде греков,
да и вообще – вне Греции – их мало.
По крайней мере, мало для того,
чтоб сохранить сооруженья веры.
А верить в то, что мы сооружаем,
от них никто не требует. Одно,
должно быть, дело нацию крестить,
а крест нести – уже совсем другое.
У них одна обязанность была.
Они ее исполнить не сумели.
Непаханое поле заросло.
«Ты, сеятель, храни свою соху,
а мы решим, когда нам колоситься».

Они свою соху не сохранили.

Сегодня ночью я смотрю в окно
и думаю о том, куда зашли мы?
И от чего мы больше далеки:
от православья или эллинизма?
К чему близки мы? Что там, впереди?
Не ждет ли нас теперь другая эра?
И если так, то в чем наш общий долг?
И что должны мы принести ей в жертву?

1 полугодие 1966

Сочинения Иосифа Бродского. Пушкинский фонд.
Санкт-Петербург, 1992.

СТИХИ НА БУТЫЛКЕ, ПОДАРЕННОЙ АНДРЕЮ СЕРГЕЕВУ

1

На склоне лет я на ограду влез
Я удовлетворял свой интерес
к одной затворнице и зная
что между нами проходная
я подтянулся на руках
ныряла в облаках
Луна и ввысь
из радио неслись
обрывки вальса
и я Луной залюбовался
я примостился между копий
открылся вид балтийских топей
к девице в общежитие я лез
а увидал владычицу небес

2

Я,
о моя
милая, вспять
смотрю и опять
те вспоминаю края,
где не слышать филломел,
края, где небесный мел
больше земной доски.
Я учился там жить,
доходил от тоски
и раскрашивал дверь,
бегал к пруду,
ждал то, чего
теперь
не жду.

3

Цинтия смотрит назад, назад
и видит: входит Проперций в сад,
в руках у него цветы.
Проперций смотрит вперед.

Цинтия, где же ты?
А Цинтия в рот
воды набрала.
Полет орла
Цинтия в тучах зрит.
Не слышит, что говорит
ее возлюбленный друг.
Клубится роз аромат
вокруг Проперция, и вокруг
деревья, деревья шумят, шумят.

4

Увы,
из Москвы
снова я должен
уехать. Я дожил:
остался без денег
и ни один бездельник
не выдаст мне, как ни проси,
на такси.

1966

Сочинения Иосифа Бродского. Пушкинский фонд.
Санкт-Петербург, 1992.

«Сумерки. Снег. Тишина. Весьма...»

Сумерки. Снег. Тишина. Весьма тихо. Аполлон вернулся на Демос. Сумерки, снег, наконец, сама тишина — избавит меня, надеюсь, от необходимости — прости за дерзость объяснять самый факт письма.

Праздники кончились – я не дам соврать своим рифмам. Остатки влаги замерзают. Небо белей бумаги розовеет на западе, словно там складывают смятые флаги, разбирают лозунги по складам.

Эти строчки, в твои персты попав (когда все в них уразумеешь ты), побелеют, поскольку ты на слово и на глаз не веришь. И ты настолько порозовеешь, насколько побелеют листы.

В общем, в словах моих новизны хватит, чтоб не скучать сороке. Пестроту июля, зелень весны

осень превращает в черные строки,
и зима читает ее упреки
и зачитывает до белизны.

Вот и метель, как в лесу игла,
гудит. От Бога и до порога
бело. Ни запятой, ни слога.
И это значит: ты все прочла.
Стряхивать хлопья опасно, строго
говоря, с твоего чела.
Нету – письма. Только крик сорок,
не понимающих дела почты.
Но белизна вообще залог
того, что под ней хоронится то, что
превратится впоследствии в почки,
в точки, в буйство зелени, в буквы строк.

Пусть не бессмертие – перегной
вберет меня. Разница только в поле
сих существительных. В нем тем боле
нет преимущества передо мной.
Радуюсь, встретив сороку в поле,
как завидевший берег Ной.

Так утешает язык певца,
превосходя самоё природу,
свои окончания без конца
по падежу, по числу, по роду
меняя, Бог знает кому в угодую,

глядя в воду глазами пловца.

1966

Сочинения Иосифа Бродского. Пушкинский фонд.
Санкт-Петербург, 1992.

К СТИХАМ

«Скучен вам, стихи мои, ящик...»

Кантемир

Не хотите спать в столе. Прытко
возражаете: «Быв здраву,
корчиться в земле суть пытка».
Отпускаю вас. А что ж? Праву
на свободу возражать – грех. Мне же
хватит и других – здесь, мыслю,
не стихов – грехов. Все реже
сочиняю вас. Да вот, кислу
мину позабыл аж даве
сделать на вопрос: «Как вирши?
Прибавляете лучей к славе?»
Прибавляю, говорю. Вы же
оставляете меня. Что ж! Дай вам
Бог того, что мне ждять поздно.
Счастья, мыслю я. Даром,
что я сам вас сотворил. Розно
с вами мы пойдём: вы – к людям,
я – туда, где все будем.

До свидания, стихи. В час добрый.
Не боюсь за вас; есть средство

вам перенести путь долгий:
милые стихи, в вас сердце
я свое вложил. Коль в Лету
канет, то скорбеть мне перву.
Но из двух оправ – я эту
смело предпочел сему перлу.
Вы и краше и добрей. Вы тверже
тела моего. Вы проще
горьких моих дум – что тоже
много вам придаст сил, мощи.
Будут за всё то вас, верю,
более любить, чем ноне
вашего творца. Все двери
настежь будут вам всегда. Но не
грустно эдак мне слыть нищу:
я войду в одне, вы – в тыщу.

22 мая 1967

Сочинения Иосифа Бродского. Пушкинский фонд.
Санкт-Петербург, 1992. 1000

«Коньяк в графине – цвета янтаря...»

Коньяк в графине – цвета янтаря,
что, в общем, для Литвы симптоматично.
Коньяк вас превращает в бунтаря.
Что не практично. Да, но романтично.
Он сильно обрубает якоря
всему, что неподвижно и статично.

Конец сезона. Столики вверх дном.
Ликуют белки, шишками насытятся.
Храпит в буфете русский агроном,
как свыкшийся с распутицею витязь.
Фонтан журчит, и где-то за окном
милуются Юрате и Каститис.

Пустые пляжи чайками живут.
На солнце сохнут пестрые кабины.
За дюнами транзисторы ревут
и кашляют курляндские камины.
Каштаны в лужах сморщенных плывут
почти как гальванические мины.

К чему вся метрополия глуха,
то в дюжине провинций переняли.

Поет апостол рачьего стиха
в своем невразумительном журнале.
И слепок первородного греха
свой образ тиражирует в канале.

Страна, эпоха – плюнь и разотри!
На волнах пляшет пограничный катер.
Когда часы показывают «три»,
слышны, хоть заплыви за дебаркадер,
колокола костела. А внутри
на муки Сына смотрит Богоматерь.

И если жить той жизнью, где пути
действительно расходятся, где фланги,
бесстыдно обнажаясь до кости,
заводят разговор о бумеранге,
то в мире места лучше не найти
осенней, всеми брошенной Паланги.

Ни русских, ни евреев. Через весь
огромный пляж двухлетний археолог,
ушедший в свою собственную спесь,
бредет, зажав фаянсовый осколок.
И если сердце разорвется здесь,
то по-литовски писанный некролог

не превзойдет наклейки с коробка,
где брякают оставшиеся спички.
И солнце, наподобье колобка,

зайдет, на удивление синичке
на миг за кучевые облака
для траура, а может, по привычке.

Лишь море будет рокотать, скорбя
безлично – как бывает у артистов.
Паланга будет, кашляя, сопя,
прислушиваться к ветру, что неистов,
и молча пропускать через себя
республиканских велосипедистов.

Осень 1967

Сочинения Иосифа Бродского. Пушкинский фонд.
Санкт-Петербург, 1992.

ОТРЫВОК

Октябрь – месяц грусти и простуд,
а воробьи – пролетарьят пернатых
захватывают в брошенных пенатах
скворечники, как Смольный институт.
И воронье, конечно, тут как тут.

Хотя вообще для птичьего ума
понятья нет страшнее, чем зима,
куда сильней страшится перелета
наш длинноносый северный Икар.
И потому пронзительное «карр!»
звучит для нас как песня патриота.

1967

Сочинения Иосифа Бродского. Пушкинский фонд.
Санкт-Петербург, 1992.

ОТРЫВОК

М. Б.

Ноябрьским днем, когда защищены
от ветра только голые деревья,
а все необнаженное дрожит,
я медленно бреду вдоль колоннады
дворца, чьи стекла чествуют закат
и голубей, слетевшихся гурьбою
к заполненным окурками весам
слепой богини.

Старые часы
показывают правильное время.
Вода бурлит, и облака над парком
не знают толком что им предпринять,
и пропускают по ошибке солнце.

1967

Сочинения Иосифа Бродского. Пушкинский фонд.
Санкт-Петербург, 1992.

ПО ДОРОГЕ НА СКИРОС

Я покидаю город, как Тезей
свой Лабиринт, оставив Минотавра
смердеть, а Ариадну – ворковать
в объятьях Вакха.

Вот она, победа!

Апофеоз подвижничества! Бог
как раз тогда подстраивает встречу,
когда мы, в центре завершив дела,
уже бредем по пустырю с добычей,
навек уходя из этих мест,
чтоб больше никогда не возвращаться.

В конце концов, убийство есть убийство.
Долг смертных ополчаться на чудовищ.
Но кто сказал, что чудовища бессмертны?
И – дабы не могли мы возомнить
себя отличными от побежденных
Бог отнимает всякую награду
(тайком от глаз ликующей толпы)
и нам велит молчать. И мы уходим.

Теперь уже и вправду – навсегда.
Ведь если может человек вернуться
на место преступления, то туда,

где был унижен, он прийти не сможет.
И в этом пункте планы Божества
и наше ощущение униженья
настолько абсолютно совпадают,
что за спиною остаются: ночь,
смердящий зверь, ликующие толпы,
дома, огни. И Вахх на пустыре
милуется в потемках с Ариадной.

Когда-нибудь придется возвращаться.
Назад. Домой. К родному очагу.
И ляжет путь мой через этот город.
Дай Бог тогда, чтоб не было со мной
двуострого меча, поскольку город
обычно начинается для тех,
кто в нем живет,
с центральных площадей
и башен.
А для странника – с окраин.

1967

Сочинения Иосифа Бродского. Пушкинский фонд.
Санкт-Петербург, 1992.

«Сын! Если я не мертв, то потому...»

Сын! Если я не мертв, то потому что, связок не щадя и перепонок, во мне кричит всё детское: ребенок один страшится уходить во тьму.

Сын! Если я не мертв, то потому что молодости пламенной – я молод с ее живыми органами холод столь дальних палестин не по уму.

Сын! Если я не мертв, то потому что взрослый не зовет себе подмогу. Я слишком горд, чтобы за то, что Богу предписывалось, братья самому.

Сын! Если я не мертв, то потому что близость смерти ложью не унижу: я слишком стар. Но и вблизи не вижу там избавленья сердцу моему.

Сын! Если я не мертв, то потому что знаю, что в Аду тебя не встречу. Апостол же, чьей воле не перечу,

в Рай не позволит занести чуму.

Сын! Я бессмертен. Не как оптимист.
Бессмертен, как животное. Что строже.
Все волки для охотника – похожи.
А смерть – ничтожный физиономист.

Грех спрашивать с разрушенных орбит!
Но лучше мне кривиться в укоризне,
чем быть тобой неузнанным при жизни.
Услышь меня, отец твой не убит.

1967

Сочинения Иосифа Бродского. Пушкинский фонд.
Санкт-Петербург, 1992.

ЭЛЕГИЯ НА СМЕРТЬ

Ц. В.

В пространстве, не дыша,
несется без дорог
еще одна душа
в невидимый чертог.

А в сумраке, внизу,
измученный сосуд
в кладбищенском лесу
две лошади везут.

Отсюда не воззвать,
отсюда не взглянуть.
Расставшихся в кровать
больницы не вернуть.

Простились без тоски,
друг другу не грозя,
при жизни не враги,
по смерти не друзья.

Сомненья не унять.
Шевелится в груди

стремление уравнивать
столь разные пути.

Пускай не объяснить
и толком не связать,
пускай не возопить,
но шепотом сказать,

что стынувший старик,
плывущий в темноте,
пронзительней, чем крик
«Осанна» в высоте.

Поскольку мертвецы
не ангелам сродни,
а наши близнецы.
Поскольку в наши дни

доступнее для нас,
из вариантов двух,
страдание на глаз
бессмертия на слух.

1967

Сочинения Иосифа Бродского. Пушкинский фонд.
Санкт-Петербург, 1992.

1 СЕНТЯБРЯ 1939 ГОДА

День назывался «первым сентября».
Детишки шли, поскольку – осень, в школу.
А немцы открывали полосатый
шлагбаум поляков. И с гуденьем танки,
как ногтем – шоколадную фольгу,
разгладили улан.
Достань стаканы
и выпьем водки за улан, стоящих
на первом месте в списке мертвецов,
как в классном списке.
Снова на ветру
шумят березы, и листва ложится,
как на оброненную конфедератку,
на кровлю дома, где детей не слышно.
И тучи с гроыханием ползут,
минуя закатившиеся окна.

1967

Сочинения Иосифа Бродского. Пушкинский фонд.
Санкт-Петербург, 1992.

ФОНТАН

Из пасти льва
струя не журчит и не слышно рыка.
Гиацинты цветут. Ни свистка, ни крика.
Никаких голосов. Неподвижна листва.
И чужда обстановка сия для столь грозного лика,
и нова.
Пересохли уста,
и гортань проржавела: металл не вечен.
Просто кем-нибудь наглухо кран заверчен,
хоронящийся в кущах, в конце хвоста,
и крапива опутала вентиль. Спускается вечер;
из куста
сонм теней
выбегает к фонтану, как львы из чащи.
Окружают сородича, спящего в центре чаши,
перепрыгнув барьер, начинают носиться в н 1000
ей,
лижут лапы и морду вождя своего. И чем чаще,
тем темней
грозный облик. И вот
наконец он сливается с ними и резко
оживает и прыгает вниз. И все общество резво
убегает во тьму. Небосвод
прячет звезды за тучу, и мыслящий трезво

назовет

похищение вождя

– так как первые капли блестят на скамейке
назовет похищение вождя приближеньем дождя.
Дождь спускает на землю косые линейки,
строя в воздухе сеть или клетку для львиной
семейки
без узла и гвоздя.

Теплый

дождь

моросит.

Как и льву, им гортань не остудишь.

Ты не будешь любим и забыт не будешь.

И тебя в поздний час из земли воскресит,
если чудищем был ты, компания чудищ.

Разгласит

твой побег

дождь и снег.

И, не склонный к простуде,

все равно ты вернешься в сей мир на ночлег.

Ибо нет одиночества больше, чем память о чуде.

Так в тюрьму возвращаются в ней побывавшие
люди,

и голубки – в ковчег.

1967

Сочинения Иосифа Бродского. Пушкинский фонд.
Санкт-Петербург, 1992.

НЕОКОНЧЕННЫЙ ОТРЫВОК

Отнюдь не вдохновение, а грусть
меня склоняет к описанью вазы.
В окне шумят раскидистые вяза.
Но можно только увеличить груз
уже вполне достаточный, скребя
пером перед цветущею колодой.
Петь нечто, сотворенное природой,
в конце концов, описывать себя.
Но гордый мир одушевленных тел
скорей в себе, чем где-то за горами,
имеет свой естественный предел,
который не расширишь зеркалами.

Другое дело – глиняный горшок.
Пусть то, что он – недвижимость, неточно.
Но подвижность тут выражена в том, что
он из природы делает прыжок
в бездушие. Он радует наш глаз
бездушием, которое при этом
и позволяет быть ему предметом,
я думаю, в отличие от нас.
И все эти повозки с лошадьми,
тем паче – нарисованные лица
дают, как всё, что создано людьми,

им от себя возможность отделиться.

Античный зал разжевывает тьму.
В окне торчит мускулатура Штробля.
И своды, как огромная оглобля,
елозят по затылку моему.
Все эти яйцевидные шары,
мне чуждые, как Сириус, Канопус,
в конце концов напоминают глобус
иль более далекие миры.
И я верчусь, как муха у виска,
над этими пустыми кратерами,
отталкивая русскими баграми
метафору, которая близка.

Но что ж я, впрочем? Эта параллель
с лишенным возвращенья астронавтом
дороже всех. Не склонный к полуправдам,
могу сказать: за тридевять земель
от жизни захороненный во мгле,
предмет уже я неодушевленный.
Нет скорби о потерянной земле,
нет страха перед смертью во Вселенной...

1966

Сочинения Иосифа Бродского. Пушкинский фонд.
Санкт-Петербург, 1992.

ПРОЩАЙТЕ, МАДЕМУАЗЕЛЬ ВЕРОНИКА

I

Если кончу дни под крылом голубки,
что вполне реально, раз мясорубки
станутся роскошью малых наций
после множества комбинаций
Марс перемещается ближе к пальмам;
а сам я мухи не трону пальцем
даже в ее апогей, в июле
словом, если я не умру от пули,
если умру я в постели, в пижаме,
ибо принадлежу к великой державе,

II

то лет через двадцать, когда мой отпрыск,
не сумев отоварить лавровый отблеск,
сможет сам зарабатывать, я осмелюсь

бросить свое семейство – через двадцать лет, окружен опекой по причине безумия, в дом с аптекой я приду пешком, если хватит силы, за единственным, что о тебе в России мне напомнит. Хоть против правил возвращаться за тем, что другой оставил.

III

Это в сфере нравов сочтут прогрессом.
Через двадцать лет я приду за креслом,
на котором ты предо мной сидела
в день, когда для Христова тела
завершались распятыя муки
в пятый день Страстной ты сидела, руки
скрестив, как Буонапарт на Эльбе.
И на всех перекрестках белели вербы.
Ты сложила руки на зелень платья,
не рискуя их раскрывать в объятья.

IV

Данная поза, при всей приязни,

это лучшая гемма для нашей жизни.
И она – отнюдь не недвижность. Это
апофеоз в нас самих предмета:
замена смиренья простым покоем.
То есть новый вид христианства, коим
долг дорожить и стоять на страже
тех, кто, должно быть, способен, даже
когда придет Гавриил с трубою,
мертвый предмет продолжать собою!

V

У пророков не принято быть здоровым.
Прорицатели в массе увечны. Словом,
я не более зряч, чем Назонов Калхас.
Потому прорицать – все равно, что кактус
или львиный зев подносить к забралу.
Все равно, что учить алфавит по Брайлю.
Безнадежно. Предметов, по крайней мере,
на тебя похожих на ощупь, в мире,
что называется, кот наплакал.
Какова твоя жертва, таков оракул.

VI

Ты, несомненно, простишь мне этот гаерский тон. Это лучший метод сильные чувства спасти от массы слабых. Греческий принцип маски снова в ходу. Ибо в наше время сильные гибнут. Тогда как племя слабых – плодится и врозь и оптом. Прими же сегодня, как мой постскрипtum к теории Дарвина, столь пожухлой, эту новую правду джунглей.

VII

Через двадцать лет, ибо легче вспомнить то, что отсутствует, чем восполнить это чем-то иным снаружи; ибо отсутствие права хуже, чем твое отсутствие, – новый Гоголь, насмотреться сумею, бесспорно, вдоволь, без оглядки вспять, без былой опаски, — как волшебный фонарь Христовой Пасхи оживляет под звуки воды из крана

спинку кресла пустого, как холст экрана.

VIII

В нашем прошлом – величье. В грядущем – проза.
Ибо с кресла пустого не больше спроса,
чем с тебя, в нем сидевшей Ла Гарды тише,
руки сложив, как писал я выше.
Впрочем, в сумме своей, наших дней объятья
много меньше раскинутых рук распятыя.
Так что эта находка певца хромого
сейчас, на Страстной Шестьдесят Седьмого,
предо мной маячит подобьем вето
на прыжки в девяностые годы века.

IX

Если меня не спасет та птичка,
то есть если она не снесет яичка,
и в сем лабиринте без Ариадны
(ибо у смерти есть варианты,
предвидеть которые – тоже доблесть)
я останусь один и, увы, сподоблюсь
холеры, доноса, отправки в лагерь,

то – если только не ложь, что Лазарь
был воскрешен, то я сам воскресну.
Тем скорее, знаешь, приближусь к креслу.

X

Впрочем, спешка глупа и греховна. Vale!
То есть некуда так поспешать. Едва ли
может крепкому креслу грозить гибель.
Ибо у нас, на Востоке, мебель
служит трем поколениям кряду.
А я исключаю пожар и кражу.
Страшней, что смешать его могут с кучей
других при уборке. На этот случай
я даже сделать готов зарубки,
изобразив голубки голубки.

XI

Пусть теперь кружит, как пчелы ульев,
по общим орбитам столов и стульев
кресло твое по ночной столовой.
Клеймо – не позор, а основа новой
астрономии, что – перейдем на шепот

подтверждает армейско-тюремный опыт:
заклейменные вещи – источник твердых
взглядов на мир у живых и мертвых.
Так что мне не взирать, как в подобны лица,
на похожие кресла с тоской Улисса.

XII

Я – не сборщик реликвий. Подумай, если
эта речь длинновата, что речь о кресле
только повод проникнуть в другие сферы.
Ибо от всякой великой веры
остаются, как правило, только мощи.
Так суди же о силе любви, коль вещи
те, к которым ты прикоснулась ныне,
превращаю – при жизни твоей – в святыни.
Посмотри: доказуют такие нравы
не величье певца, но его державы.

XIII

Русский орел, потеряв корону,
напоминает сейчас ворону.
Его, горделивый недавно, клекот

теперь превратился в картавый рокот.
Это – старость орлов или – голос страсти,
обернувшейся следствием, эхом власти.
И любовная песня – немногим тише.
Любовь – имперское чувство. Ты же
такова, что Россия, к своей удаче,
говорить не может с тобой иначе.

XIV

Кресло стоит и вбирает теплый
воздух прихожей. В стояк за каплей
падает капля из крана. Скромно
стрекочет будильник под лампой. Ровно
падает свет на пустые стены
и на цветы у окна, чьи тени
стремятся за раму продлить квартиру.
И вместе всё создает картину
того в этот миг – и вдали, и возле
как было до нас. И как будет после.

XV

Доброй ночи тебе, да и мне – не бденья.

Доброй ночи стране моей для сведенья
личных счетов со мной пожелай оттуда,
где, посредством верст или просто чуда,
ты превратишься в почтовый адрес.
Деревья шумят за окном и абрис
крыш представляет границу суток...
В неподвижном теле порой рассудок
открывает в руке, как в печи, заслонку.
И перо за тобою бежит вдогонку.

XVI

Не догонит!.. Поелику ты – как облак.
То есть облик девы, конечно, облик
души для мужчины. Не так ли, Муза?
В этом причины и смерть союза.
Ибо души – бесплотны. Ну что ж, тем дальше
ты от меня. Не догонит!.. Дай же
на прощание руку. На том спасибо.
Величава наша разлука, ибо
навсегда расстаемся. Смолкает цитра.
Навсегда – не слово, а вправду цифра,
чьи нули, когда мы зарастем травой,
перекроют эпоху и век с лихвою.

Сочинения Иосифа Бродского. Пушкинский фонд.
Санкт-Петербург, 1992.

«Время года – зима. На границах спокойствие. Сны...»

Время года – зима. На границах спокойствие. Сны переполнены чем-то замужним, как вязким вареньем.

И глаза праотца наблюдают за дрожью блесны, торжествующей втуне победу над щучьим веленьем.

Хлопни оземь хвостом, и в морозной декабрьской мгле

ты увидишь опричь своего неприкрытого срама полумесяц плывет в запыленном оконном стекле над крестами Москвы, как лихая победа Ислама. Куполов что голов, да и шпилей – что задранных ног.

Как за смертным порогом, где встречу друг другу назначим,

где от пуза кумирен, градирен, кремлей, синагог, где и сам ты хорош со своим минаретом стоячим. Не купись на басах, не сорвись на глухой фистуле. Коль не подлюю власть, то самих мы себя перебором.

Застегни же зубчатую пасть. Ибо если лежать на столе,

то не все ли равно ошибиться крюком или морем.

Сочинения Иосифа Бродского. Пушкинский фонд.
Санкт-Петербург, 1992.

ANNO DOMINI

М.Б.

Провинция справляет Рождество.
Дворец Наместника увит омелой,
и факелы дымятся у крыльца.
В проулках – толчея и озорство.
Веселый, праздный, грязный, очумелый
народ толпится позади дворца.

Наместник болен. Лежа на одре,
покрытый шалью, взятой в Альказаре,
где он служил, он размышляет о жене
и о своем секретаре, внизу
гостей приветствующих в зале.
Едва ли он ревнует. Для него

сейчас важней замкнуться в скорлупе
болезней, снов, отсрочки перевода
на службу в Метрополию. Зане
он знает, что для праздника толпе
совсем не обязательна свобода;
по этой же причине и жене

он позволяет изменять. О чем

он думал бы, когда б его не грызли
тоска, припадки? Если бы любил?
Невольно зябко поводя плечом,
он гонит прочь пугающие мысли.
...Веселье в зале умеряет пыл,

но все же длится. Сильно опьянев,
вожди племен стеклянными глазами
взирают в даль, лишённую врага.
Их зубы, выражавшие их гнев,
как колесо, что сжато тормозами,
застряли на улыбке, и слуга

подкладывает пищу им. Во сне
кричит купец. Звучат обрывки песен.
Жена Наместника с секретарем
выскальзывают в сад. И на стене
орел имперский, выклевавший печень
Наместника, глядит нетопырем...

И я, писатель, повидавший свет,
пересекавший на осле экватор,
смотрю в окно на спящие холмы
и думаю о сходстве наших бед:
его не хочет видеть Император,
меня – мой сын и Цинтия. И мы,

мы здесь и сгинем. Горькую судьбу
гордыня не возвысит до улики,

что отошли от образа Творца.
Все будут одинаковы в гробу.
Так будем хоть при жизни разнолики!

Зачем куда-то рваться из дворца
отчизне мы не судьи. Меч суда
погрязнет в нашем собственном позоре:
наследники и власть в чужих руках.
Как хорошо, что не плывут суда!
Как хорошо, что замерзает море!
Как хорошо, что птицы в облаках

субтильны для столь тягостных телес!
Такого не поставишь в укоризну.
Но, может быть, находится как раз
к их голосам в пропорции наш вес.
Пускай летят поэтому в отчизну.
Пускай орут поэтому за нас.

Отечество... чужие господа
у Цинтии в гостях над колыбелью
склоняются, как новые волхвы.
Младенец дремлет. Теплится звезда,
как уголь под остывшею купелью.
И гости, не коснувшись головы,

нимб заменяют ореолом лжи,
а непорочное зачатие – сплетней,
фигурой умолчанья об отце...

Дворец пустеет. Гаснут этажи.
Один. Другой. И, наконец, последний.
И только два окна во всем дворце

горят: мое, где, к факелу спиной,
смотрю, как диск луны по редколесью
скользит, и вижу – Цинтию, снега;
Наместника, который за стеной
всю ночь безмолвно борется с болезнью
и жжет огонь, чтоб различить врага.

Враг отступает. Жидкий свет зари,
чуть занимаясь на Востоке мира,
вползает в окна, норовя взглянуть
на то, что совершается внутри,
и, натываясь на остатки пира,
колеблется. Но продолжает путь.

Январь 1968, Паланга

Сочинения Иосифа Бродского. Пушкинский фонд.
Санкт-Петербург, 1992.

«Я выпил газированной воды...»

Е.К.

Я выпил газированной воды
под башней Белорусского вокзала
и оглянулся, думая, куда
отсюда бросить кости.
Вылезала
из-за домов набрякшая листва.
Из метрополитеновского горла
сквозь турникеты масса естества,
как черный фарш из мясорубки, перла.
Чугунного Максимыча спина
маячила, жужжало мото-вело,
неслись такси, грузинская шпана,
вцепившись в розы, бешено ревела.
Из-за угла несло нашатырем,
Лаврентием и средствами от зуда.
И я был чужд себе и четырем
возможным направлениям отсюда.
Красавица уехала.
Ни слез,
ни мыслей, настигающих подругу.
Огни, столпотворение колес,
пригодных лишь к движению по кругу.

18 июля 1968, Москва

Сочинения Иосифа Бродского. Пушкинский фонд.
Санкт-Петербург, 1992.

ПЕСНЯ ПУСТОЙ ВЕРАНДЫ

*Not with a bang but a whimper.*⁴
T.S.Eliot

Март на исходе, и сад мой пуст.
Старая птица, сядь на куст,
у которого в этот день
только и есть, что тень.

Будто и не было тех шести
лет, когда он любил цвести;
то есть грядущее тем, что наг,
делает ясный знак.

Или, бывшему в противовес,
гол до земли, но и чужд небес,
он, чьи ветви на этот раз
лишь достижение глаз.

Знаю и сам я не хуже всех:
грех осуждать нищету. Но грех
так обнажать – поперек и вдоль
язвы, чтоб вызвать боль.

⁴ Не взрыв, но всхлип (англ.). – Из стихотворения Т.С.Элиота «The Hollow Men».

Я бы и сам его проклял, но
где-то птице пора давно
сесть, чтоб не смешить ворон;
пусть это будет он.

Старая птица и голый куст,
соприкасаясь, рождают хруст.
И, если это принять всерьез,
это – апофеоз.

То, что цвело и любило петь,
стало тем, что нельзя терпеть
без сострадания – не к их судьбе,
но к самому себе.

Грустно смотреть, как, сыграв отбой,
то, что было самой судьбой
призвано скрасить последний час,
меняется раньше нас.

То есть предметы и свойства
их одушевленное нас самих.
Всюду сквозит одержимость
тел манией личных дел.

В силу того, что конец страшит,
каждая вещь на земле спешит
больше вкусить от своих ковриг,

чем позволяет миг.

Свет – ослепляет. И слово – лжет.
Страсть утомляет. А горе – жжет,
ибо страданье – примат огня
над единицей дня.

Лучше не верить своим глазам
да и устам. Оттого что Сам
Бог, предваряя Свой Страшный Суд,
жаждет казнить нас тут.

Так и рождается тот устав,
что позволяет, предметам дав
распоряжаться своей судьбой,
их заменять собой.

Старая птица, покинь свой куст.
Стану отныне посредством уст
петь за тебя, и за куст цвести
буду за счет горсти.

Так изменились твои черты,
что будто на воду села ты,
лапки твои на вид мертвей
цепких нагих ветвей.

Можешь спокойно лететь во тьму.
Встану и место твое займу.

Этот поступок осудит тот,
кто не встречал пустот.

Ибо, чужда четверем стенам,
жизнь, отступая, бросает нам
полые формы, и нас язвит
их нестерпимый вид.

Знаю, что голос мой во сто раз
жуже, чем твой – пусть и низкий глас.
Но даже режущий ухо звук
лучше безмолвных мук.

Мир если гибнет, то гибнет без
грома и лязга; но также не с
робкой, прощающей грех слепой
веры в него, мольбой.

В пляске огня, под напором льда
подлинный мира конец – когда
песня, которая всем горчит,
выше нотой звучит.

Октябрь 1968 Сочинения Иосифа Бродского. Пушкинский фонд. Санкт-Петербург, 1992.